

# Нравственные начала анархизма

I

История человеческой мысли напоминает собой качания маятника. Только каждое из этих качаний продолжается целые века. Мысль то дремлет и застывает, то снова пробуждается после долгого сна. Тогда она сбрасывает с себя цепи, которыми опутывали ее все заинтересованные в этом — правители, законники, духовенство. Она рвет свои путы. Она подвергает строгой критике все, чему ее учили, и разоблачает предрассудки, религиозные, юридические и общественные, среди которых прозябала до тех пор. Она открывает исследованию новые пути, обогащает наше знание непредвиденными открытиями, создает новые науки.

Но исконные враги свободной человеческой мысли — правитель, законник, жрец — скоро оправляются от поражения. Мало-помалу они начинают собирать свои рассеянные было силы; они подновляют свои религии и свои своды законов, приспособляя их к некоторым современным потребностям. И, пользуясь тем рабством характеров и мысли, которое они сами же воспитали, пользуясь временной дезорганизацией общества, потребностью отдыха у одних, жадной обогащения у других и обманутыми надеждами третьих — особенно обманутыми надеждами, — они потихоньку снова берутся за свою старую работу, прежде всего, овладевая воспитанием детей и юношества.

Детский ум слаб, его так легко покорить при помощи страха: так они и поступают. Они запугивают ребенка и тогда говорят ему об аде: рисуют перед ним все муки грешника в загробной жизни, всю месть божества, не знающего пощады. А тут же они кстати расскажут об ужасах революции, воспользуются каким-нибудь случившимся зверством, чтобы вселить в ребенка ужас перед революцией и сделать из него будущего «защитника порядка». Священник приучает его к мысли о законе, чтобы лучше подчинить его «божественному закону», а законник говорит о законе божественном, чтобы лучше подчинить закону уголовному. И понемногу мысль следующего поколения принимает религиозный оттенок, оттенок раболепия и властвования — властвование и раболепие всегда идут рука об руку, — и в людях развивается привычка к подчиненности, так хорошо знакомая нам среди наших современников.

Во время таких периодов застоя и дремоты мысли мало говорить вообще о нравственных вопросах. Место нравственности занимают религиозная рутинa и лицемерие «законности». В критику не вдаются, а больше живут по привычке, следуя преданию, больше держатся

равнодушия. Никто не ратует ни «за», ни «против» ходячей нравственности. Всякий старается, худо ли, хорошо ли, подладить внешний облик своих поступков к наружно-признаваемым нравственным началам. И нравственный уровень общества падает все ниже и ниже. Общество доходит до нравственности римлян во времена распада их империи или французского «высшего» общества перед революцией и современной разлагающейся буржуазии.

Все, что было хорошего, великого, великодушного в человеке, притупляется мало-помалу, ржавеет, как ржавеет нож без употребления. Ложь становится добродетелью; подличанье — обязанностью. Нажиться, пожить всласть, растратить куда бы то ни было свой разум, свой огонек, свои силы становится целью жизни для зажиточных классов, а вслед за ними и у массы бедных, которых идеал — казаться людьми среднего сословия...

Но, мало-помалу, разврат и разложение правящих классов — чиновников, судейских, духовенства и богатых людей вообще — становятся столь возмутительными, что в обществе начинается новое, обратное качание маятника. Молодежь освобождается от старых пут, выбрасывает за борт свои предрассудки; критика возрождается. Происходит пробуждение мысли — сперва у немногих, но постепенно оно захватывает все больший и больший круг людей. Начинается движение, проявляется революционное настроение.

И тогда всякий раз снова подымается вопрос о нравственности. «С какой стати буду я держаться этой лицемерной нравственности? — спрашивает себя ум, освобождающийся от страха, внушенного религией. — С какой стати какая бы то ни было нравственность должна быть обязательна?»

И люди стараются тогда объяснить себе нравственное чувство, встречаемое ими у человека на каждом шагу и до сих пор не объясненное, — необъясненное потому, что оно все еще считается особенностью человеческой природы, тогда как для объяснения его нужно вернуться к природе: к животным, к растениям, к скалам...

И что всего поразительнее, чем больше люди подрывают основы ходячей нравственности (или, вернее, лицемерия, заступающего место нравственности), тем выше подымается нравственный уровень общества: именно в те годы, когда больше всего критикуют и отрицают нравственное чувство, оно делает самые быстрые свои успехи: оно растет, возвышается, утончается.

Это очень хорошо было видно в XVIII веке. Уже в 1723 году Мандевиль — автор анонимно изданной «Басни о пчелах» — приводил в ужас правоверную Англию своей басней и толкованиями к ней, в которых он беспощадно нападал на все общественное лицемерие, известное под именем «общественной нравственности». Он показывал, что так называемые нравственные обычаи общества — не что иное, как лицемерно надеваемая маска, и что страсти, которые хотят «покорить» при помощи ходячей нравственности, принимают только вследствие этого другое, худшее направление. Подобно Фурье, писавшему почти сто лет позже, Мандевиль требовал свободного проявления страстей, без чего они становятся пороками: и, платя дань тогдашнему недостатку познаний в зоологии, т. е. упуская из вида нравственность у животных, он объяснял нравственные понятия в человечестве

исключительно ловким воспитанием: детей — их родителями и всего общества — правящими классами.

Вспомним также могучую, смелую критику нравственных понятий, которую произвели в середине и конце

XVIII века шотландские философы и французские энциклопедисты, и напомним, на какую высоту они поставили в своих трудах нравственность вообще. Вспомним также тех, кого называли «анархистами» в 1793 году, во время Великой французской революции, и спросим, у кого нравственное чувство достигало большей высоты: у законников ли, у защитников ли старого порядка, говоривших о подчинении воле Верховного Существа, или же у атеистов, отрицавших обязательность и верховную санкцию нравственности и тем не менее шедших в то же время на смерть во имя равенства и свободы человечества?

«Что обязывает человека быть нравственным?» Вот, стало быть, вопрос, который ставили себе рационалисты XII века, философы XVI века, философы и революционеры XVIII века. Позднее тот же вопрос возник перед английскими утилитаристами (Бентамом и Миллем), перед немецкими материалистами, как Бюхнер, перед русскими нигилистами 60-х годов, перед молодым основателем анархической этики (науки об общественной нравственности) Гюйо, который, к несчастью, умер так рано. И тот же вопрос ставят себе теперь анархисты.

В самом деле — что?

В шестидесятых годах этот самый вопрос страстно волновал русскую молодежь. «Я становлюсь безнравственным, — говорил молодой нигилист своему другу, иногда даже подтверждая мучившие его мысли каким-нибудь поступком. — Я становлюсь безнравственным. Что может меня удержать от этого?»

«Библия, что ли? Но ведь Библия — не что иное, как сборник вавилонских и иудейских преданий, собранных точно так же, как собирались когда-то песни Гомера или как теперь собирают песни басков и сказки монголов! Неужели я должен вернуться к умственному пониманию полуварварских народов Востока?»

«Или же я должен быть нравственным, потому что Кант говорит нам о каком-то «категорическом императиве» (основном предписании), который исходит из глубины меня самого и предписывает мне быть нравственным? Но в таком случае почему же я признаю за этим категорическим императивом больше власти над собой, чем за другим императивом, который иногда, может быть, велит мне напиться пьяным? Ведь это — только слово, такое же слово, как слово Провидение, или Судьба, которым мы прикрываем свое неведение».

«Или же потому я должен быть нравственным, что так угодно Бентаму, который уверяет, что я буду счастливее, если утону, спасая человека, тонущего в реке, чем если я буду смотреть с берега, как он тонет?»

«Или же, наконец, потому, что так меня воспитали? Потому что моя мать учила меня быть нравственным? Но в таком случае я должен, стало быть, класть поклоны перед картиной, изображающей Христа или Богородицу, уважать царя, преклоняться перед судьей, когда я,

может быть, знаю, что он взяточник? Все это только потому, что моя мать, наши матери, прекрасные, но, в конце концов, очень мало знающие женщины, учили нас куче всякого вздора?»

«Все это предрассудки, и я всячески постараюсь от них отделаться. Если мне противно быть безнравственным, то я заставлю себя быть таковым, точно так же как в юности я заставлял себя не бояться темноты, кладбища, привидений, покойников, к которым нянюшки вселяли мне страх. Я сделаю это, чтобы разбить оружие, которое обратили себе на пользу религии; я сделаю это хотя бы только для того, чтобы протестовать против лицемерия, которое налагает на нас обязанности во имя какого-то слова, названного ими нравственностью».

Так рассуждала русская молодежь в ту пору, когда она отбрасывала предрассудки «старого мира» и развешивала знамя нигилизма (т. е., в сущности, анархической философии) и говорила: «Не склоняйся ни перед каким авторитетом, как бы уважаем он ни был; не принимай на веру никакого утверждения, если оно не установлено разумом».

Нужно ли прибавлять, что, отбросив уроки нравственности своих родителей и отвергнув все без исключения этические системы, эта же самая нигилистическая молодежь выработала в своей среде ядро нравственных обычаев, обихода, гораздо более глубоко нравственных, чем весь образ жизни их родителей, выработанный под руководством Евангелия, или «категорического императива» Канта, или «правильно понятой личной выгоды» английских утилитаристов.

Но прежде чем ответить на вопрос, «почему быть мне нравственным?», рассмотрим сперва мотивы человеческих поступков.

## II

Когда наши прародители старались уяснить себе, что побуждает человека действовать так или иначе, они очень просто решали дело. По сию пору можно еще найти католические картинки, на которых изображено их объяснение. По полю идет человек и, сам того не подозревая, несет дьявола у себя на левом плече и ангела на правом. Дьявол толкает его на зло, ангел же старается удержать от та; и если ангел возьмет верх и человек останется добродетельным, тогда три других ангела подхватят его и унесут и облака. Все объяснено как нельзя лучше.

Наши старушки нянюшки, хорошо осведомленные по этим делам, скажут вам даже, что никогда не надо класть ребенка в постель, не расстегнув ворота его рубашки. Нужно, чтобы «дужка» внизу шеи оставалась открытой; тогда ангел-хранитель приютится в ней. Иначе дьявол будет мучить ребенка во сне.

Все эти простые, наивные верования, конечно, пропадают мало-помалу. Но если старые слова исчезают, то суть остается та же.

Люди, учившиеся чему-нибудь, больше не верят в дьявола; но так как в громадном большинстве случаев их понимание природы ничуть не рациональнее, чем понимание наших нянюшек, они попросту запрятывают дьявола и ангела под схоластические словеса, которые у них сходят за философию. Вместо дьявола нынче говорят: «Плоть, дурные страсти». Ангела нынче заменили словами «совесть», «душа» — «отражение мысли Творца», или же «Великого зодчего», как говорят франкмасоны. Но поступки человека все же представляются, как и в старину только как следствие борьбы двух враждебных начал: доброго и злого — вместо двух враждебных существ. И человек считается добродетельным или нет, смотря по тому, которое из двух начал — душа, совесть или же плотские страсти — одержит верх.

Легко понять ужас наших дедов, когда английские философы XVIII века, а за ними французские энциклопедисты начали утверждать, что ангелы и дьяволы — ни при чем в человеческих поступках; что все поступки человека, хорошие и дурные, полезные и вредные, имеют одно побуждение: желание личного удовлетворения.

Люди верующие, а в особенности неисчислимая орда фарисеев, подняли тогда громкие крики, обвиняя философов в безнравственности. Их всячески оскорбляли, их предавали анафеме. И когда позднее, в течение XIX века, те же мысли высказывались Бентамом, Миллем, а потом Чернышевским и многими другими и эти писатели стали доказывать, что эгоизм, т. е. желание личного удовлетворения является истинным двигателем всех наших поступков то проклятия религиозно-фарисейского лагеря раздались с новой силой. Этих писателей стали обзывать невеждами, развратниками, а их книги замалчивали.

Но было ли их утверждение в самом деле так неверно?

Вот человек, который отнимает у голодных детей последний кусок хлеба. Все единогласно признают ведь, что он — отчаянный эгоист, что им двигает только любовь к самому себе.

Но вот другой, которого все признают добродетельным Он делит свой последний кусок хлеба с голодными, он снимает с себя одежду, чтобы отдать тому, кто зябнет на морозе. И моралисты, говоря все тем же языком религий в один голос утверждают, что в этом человеке любовь к ближнему доходит до самопожертвования, что им двигает совсем другая страсть, чем эгоистом.

А между тем, если подумать немножко, нетрудно заметить что, хотя последствия этих двух поступков совершенно различны для человечества, двигающая сила того и другого одна и та же. И в том и в другом случае человек ищет удовлетворения своих личных желаний — следовательно, удовольствия.

Если бы человек, отдающий свою рубашку другому, не находил в этом личного удовлетворения, он бы этого не сделал. Если бы, наоборот, он находил удовольствие в том, чтобы отнять хлеб у детей, он так бы и поступил. Но ему было бы неприятно, тяжело так поступить; ему приятно, наоборот, поделиться своим — и он отдает свой хлеб другому.

Если бы мы не хотели, во избежание путаницы понятий, воздерживаться от употребления в новом смысле слов, уже имеющих установленный смысл, мы могли бы сказать, что и тот и

другой человек действуют под влиянием своего эгоизма (себялюбия). Так и говорят некоторые писатели, чтобы сильнее оттенить свою мысль, чтобы резче выразить ее в форме, которая поражает воображение, и вместе с тем отстранить легенду, утверждающую, что побуждения совершенно разные в этих двух случаях. На деле же побуждение то же: найти удовлетворение или же избежать тяжелого, неприятного ощущения, что, в сущности, одно и то же.

Возьмите последнего негодяя Тьера, например, который произвел избиение тридцати пяти тысяч парижан при разгроме Коммуны; возьмите убийцу, который зарезал целое семейство, чтобы самому предаться пьянству и разврату. Они так поступают, потому что в данную минуту желание славы в Тьере и жажда денег в убийце одержали верх над всеми прочими желаниями: жалость, даже сострадание убиты в них в эту минуту другим желанием, другой жаждой. Они действуют почти как машины, чтобы удовлетворить потребность своей природы.

Или же, оставляя людей, руководимых сильными страстями, возьмите человека мелкого, который надувает своих друзей, лжет и изворачивается на каждом шагу то для того, чтобы заполучить денег на выпивку, то из хвастовства, то просто из любви к вранью. Возьмите буржуа, который обворовывает своих рабочих грош за грошом, чтобы купить наряд своей жене или любовнице. Возьмите любого дрянного плута. Все они опять-таки только повинуются своим наклонностям; все они ищут удовлетворения потребности или же стремятся избегнуть того, что для них было бы мучительно.

Сравнивать таких мелких плутов с тем, кто отдает свою жизнь за освобождение угнетенных и восходит на эшафот, как восходит русская революционерка, — сравнивать их почти что стыдно. До такой степени различны результаты этих жизней для человечества: так привлекательны одни и так отвратительны другие.

А между тем, если бы вы спросили революционерку, пожертвовавшую собой, даже за минуту до казни, она сказала бы вам, что она не отдала бы своей жизни травленного царскими псами зверя и даже своей смерти в обмен на существование мелкого плута, живущего обворовыванием своих рабочих. В своей жизни, в своей борьбе против властных чудовищ она находила наивысшее удовлетворение. Все остальное, вне этой борьбы, все мелкие радости, все мелкие горести «мещанского счастья» кажутся ей такими ничтожными, такими скучными, такими жалкими! «Вы не живете, — сказала бы она, — вы прозябаете, а я — я жила!» Мы, очевидно, говорим здесь об обдуманных, сознательных поступках человека: о бессознательных, почти машинальных поступках и действиях, составляющих такую громадную долю жизни человека, мы поговорим потом. Так вот, в своих сознательных, обдуманных поступках человек всегда ищет того, что дает ему удовлетворение.

Такой-то напивается каждый день, потому что он ищет в вине нервное возбуждение, которого не находит в своей истощенной нервной системе. Другой не напивается, отказывается от вина, хотя даже находит в нем удовольствие, чтобы сохранить свежесть мысли и полноту своих сил, которые он и отдает на то, чтобы наслаждаться чем-нибудь другим, что предпочитает вину. Но, поступая так, не поступает ли он точно так же, как человек, любящий поесть и отказывающийся за большим обедом от одного блюда, чтобы

наестся другого, любимого блюда?

Что бы человек ни делал, он всегда либо ищет удовлетворения своих желаний, либо старается избежать чего-нибудь неприятного.

Когда женщина, подобная Луизе Мишель, отдает последний свой кусок хлеба первому встречному и снимает с себя последнюю свою ветошку, чтобы закутать другую женщину, а сама дрожит на палубе корабля, несущего ее на каторгу в Новую Каледонию, — она поступает так, потому что она гораздо больше бы страдала при виде голодного человека или дрожащей от холода женщины, чем когда сама дрожит или чувствует голод. Она избегает неприятного чувства, всю силу которого могут понять только те, кто сам его испытывал.

Когда австралиец, о котором рассказывал Дарвин, чахнет от мысли, что он еще не отомстил за смерть своего сородича; когда он худеет с каждым днем, мучимый сознанием своей трусости, и возвращается к нормальной жизни только после того, как выполнит долг родовой мести, — этот австралиец совершает акт, нередко геройский, чтобы избавиться от угрызений совести, которые его мучат, чтобы снова узнать внутренний мир, который и доставляет высшее наслаждение.

Когда стадо обезьян, увидев, что один из их братьев пал под пулей охотника, подходит всей гурьбой к палатке охотника, требуя от него выдачи трупа, несмотря на страх, наведенный его ружьем; когда старый самец из этого стада решается подойти вплотную к палатке, сперва угрожает охотнику, а потом просит и наконец своими завываниями добивается того, что ему отдают труп, после чего стадо уносит убитого товарища, оглашая воздух своими воплями (факт, рассказанный натуралистом Форбзом), — в этом случае обезьяны повинуются чувству соболезнования, которое берет верх над всеми их соображениями о личной безопасности. Чувство соболезнования и взаимности подавляет все остальные: самая жизнь теряет для них свою цену, пока они не убедятся, что вернуть товарища к жизни они больше не могут. Оно до того гнетуще действует на этих бедных животных, что они идут на явную опасность, лишь бы от него избавиться.

Когда муравьи тысячами бросаются в огонь муравейника, подожженного для забавы этим злым животным — Человеком, и гибнут сотнями в огне, спасая свои личинки, они опять-таки повинуются глубоко сидящей в них потребности: спасти свое потомство. Они всем рискуют, чтобы сохранить личинки, которые они воспитывали — часто с большей заботливостью, чем буржуазка-мать воспитывает своих детей.

И наконец, когда микроскопическая инфузория уплывает от слишком жаркого луча и ищет умеренно теплых лучей, когда растение поворачивает свой цветок к солнцу, а на ночь складывает свои лепестки, — все эти существа также повинуются потребности избежать неприятного и насладиться приятным — точно так же, как муравей, как обезьяна, как австралиец, как христианский мученик, как мученик-революционер.

Искать удовлетворения потребности, избегать того, что мучительно, — таков всеобщий факт (другие скажут «закон») жизни. В этом — самая сущность жизни.

Без этого искания удовлетворения жизнь стала бы невозможной. Организм распался бы, прекратилось бы существование.

Таким образом, каков бы ни был поступок человека, какой бы образ действия он ни избрал, он всегда поступает так, а не иначе, повинувшись потребности своей природы. Самый отвратительный поступок, как и самый прекрасный или же самый безразличный поступок, одинаково являются следствием потребности в данную минуту. Человек поступает так или иначе, потому что он в этом находит удовлетворение или же избегает таким образом (или ' думает, что избегает) неприятного ощущения.

Вот факт, совершенно установленный. Вот сущность того, что называли теорией эгоизма.

И что же? Подвинуло ли нас сколько-нибудь установление этого обобщения?

Да, конечно, подвинуло. Мы завоевали себе одну истину и разрушили один предрассудок, лежащий в основе всех других предрассудков. Вся материалистическая философия, поскольку она касается человека, содержится в этом заключении.

Но следует ли из этого, что поступки человека безразличны, как это поторопились вывести весьма многие? Разберем теперь этот вывод.

### III

Мы видели, что обдуманное и сознательное поступки человека — позже мы поговорим о бессознательных привычках, — все имеют одинаковое происхождение. Поступки, называемые добродетельными, и те, которые мы называем порочными, великие акты самопожертвования и мелкое плутовство, поступки привлекательные и поступки отвратительные — все вытекают из одного и того же источника. Все совершаются для того, чтобы ответить потребности, зависящей от природы личности. Все имеют целью доставить удовлетворение потребности, т. е. удовольствие, или же отвечают желанию избежать страдания.

Мы видели это в предыдущей главе, представляющей собой сжатый очерк громаднейшей массы фактов; их можно было бы привести без числа в подтверждение сказанного.

Понятно, что такое объяснение приводит в озлобление тех, кто еще пропитан религиозными мыслями. Оно не оставляет места сверхъестественным силам: оно исключает мысль о бессмертной душе. Действительно, если человек всегда повинуется потребностям своей природы, если он, так сказать, не что иное, как «сознательный автомат», где же место для бессмертной души? Что случилось с бессмертием — этим последним убежищем тех, кто много страдал и мало знал радостей и кто верит поэтому, что найдет вознаграждение в другом, загробном мире?

Мы понимаем, что люди, выросшие в предрассудках, не доверяющие науке — она так часто их обманывала — и гораздо более управляемые чувством, чем разумом, отвергают такое

объяснение. Оно отнимает у них их последнюю надежду.

Но что сказать о революционерах, которые начиная с XVIII века и вплоть до наших дней, как только познакомятся впервые с естественным объяснением человеческих поступков (с теорией эгоизма, если хотите), сейчас же спешат вывести из нее то же заключение, что и молодой нигилист, о котором мы говорили вначале, т. е. говорят: «Долой всякую нравственность!»

Что сказать о тех, которые, убедившись, что как бы ни поступал человек, он поступает так, а не иначе, чтобы ответить потребности своей природы, торопятся вывести из этого, что все поступки безразличны; что нет ни добра, ни зла; что спасти тонущего человека или утопить человека, чтобы завладеть его часами, — два равнозначных поступка; что мученик, умирающий на эшафоте, после того как работал в своей жизни над освобождением человечества, и мелкий плут стоят друг друга — потому что оба искали удовлетворения потребности, искали счастья!

Если бы те же люди прибавляли, что нет на свете ни приятных, ни неприятных запахов; что аромат розы и вонь ассы фетиды безразличны, потому что и то и другое — не что иное, как колебания частичек вещества; что нет ни хорошего, ни дурного вкуса, так как горечь хинина и сладость гуавы — опять-таки не что иное, как колебания частичек; что на свете нет ни физической красоты, ни безобразия, ни ума, ни глупости, потому что красота и безобразие, ум и глупость — тоже результаты колебаний, химических и физических, происходящих в клеточках организма. Если бы они прибавили все это, то можно было бы сказать, что они городят вздор, но по крайней мере рассуждают с формальной логикой сумасшедшего.

Но нет — этого они не утверждают. Они признают для себя и других различие хорошего и дурного вкуса, приятного и неприятного запаха, они знают различие ума и глупости, красоты и безобразия... Что же следует из этого заключить?

Наш ответ очень прост. Дело в том, что Мандевиль, писавший в 1723 году свою «Басню о пчелах», русский нигилист 60-х годов и современный французский анархист рассуждают так потому, что, не отдавая себе в этом отчета, они остаются погрязшими в предрассудках своего христианского воспитания. Какими бы они себя ни считали атеистами, материалистами или анархистами, они продолжают рассуждать по вопросу о нравственности, точь-в-точь как рассуждали отцы христианской церкви или основатели буддизма.

Эти добродушные старцы говорили: «Поступок тогда будет хорош, когда он представляет собою победу души над плотью; он будет дурен, если плоть победила душу, и он будет безразличен, если ни то, ни другое. Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен». И наши молодые товарищи вслед за христианскими и буддистскими отцами повторяют: «Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен. Раз его нет — нет ни добра, ни зла».

Отцы Церкви говорили: «Взгляните на животных: у них нет бессмертной души. Их поступки просто отвечают потребностям их природы; а потому у животных не может быть ни дурных, ни хороших поступков. Все их поступки безразличны. Вот почему для животных не будет ни ада, ни рая: ни наказания, ни вознаграждения».

И наши молодые товарищи повторяют вслед за святым Августином и святым Шакьямуни: «Человек — тоже животное; его поступки тоже отвечают только потребностям его природы. А потому не может быть ни хороших, ни дурных поступков. Они все безразличны».

Везде, всегда все та же проклятая идея о наказании и вознаграждении, становящаяся поперек разуму. Везде все то же нелепое наследие религиозного обучения, в силу которого выходило, что поступок тогда только хорош, когда он вытекает из внушения свыше, и безразличен, если в нем отсутствует сверхъестественное внушение. Опять, даже у тех, кто больше всего смеется над дьяволом и ангелом, мы находим дьявола на левом плече и ангела на правом.

«Раз вы прогнали дьявола и ангела и уже больше не в силах нам сказать, что хорошо, что дурно, так как другой мерки, чтобы судить поступки, у меня нет».

Старые верования все еще живы по-прежнему в этом рассуждении с их дьяволом и ангелом, несмотря на внешнюю материалистическую окраску. И, что всего хуже, судья со своими раздачами кнута для одних и наград для других тоже благоприсутствует, и даже принципы анархии не в силах искоренить этого понятия о награде и наказании.

Но мы отказались раз и навсегда и от священника, и от судьи. Они нам вовсе не нужны. А потому мы рассуждаем так: «Когда асса фетида издает противный мне запах, когда змея кусает людей, а враль их обманывает, то все трое одинаково следуют природной необходимости. Это верно. Но и я тоже следую такой же природной необходимости, когда ненавижу растение, издающее противный запах, ненавижу змею, убивающую людей своим ядом, и ненавижу тех людей, которые иногда бывают вреднее всякой змеи. И я буду действовать сообразно этому чувству, не обращая ни к дьяволу, с которым я, впрочем, незнаком, ни к судье, которого ненавижу еще больше, чем змею. Я и все те, кто так же думает, мы тоже повинемся потребностям нашей природы, И мы увидим, на чьей (стороне) разум, а следовательно, и сила».

Это мы сейчас и разберем, и тогда мы увидим, что если святой Августин не находил другого основания, чтобы различать между добром и злом, кроме внушения свыше, то у животных есть свое основание, несравненно более действительное для такого различения.

Животные вообще, начиная с насекомого и кончая человеком, прекрасно знают, что хорошо и что дурно, не обращая за этим ни к Евангелию, ни к философии. И причина, почему они знают, — опять-таки в их природных потребностях: в условиях, необходимых для сохранения расы, которые ведут, в свою очередь, к осуществлению возможно большей суммы счастья для каждой отдельной особи.

# IV

Чтобы отличить, что хорошо и что худо, богословы Моисеева закона, буддийские, христианские и мусульманские всегда ссылались на божественное внушение свыше. Они видели, что человек, будь он цивилизованный или дикарь, ученый или безграмотный, развратник или добрый и честный, всегда знает, когда он поступает хорошо и когда поступает дурно, — в особенности когда поступает дурно. Но, не находя объяснения этому всеобщему факту человеческой природы, они приписывали его чувству, сознанию, вселенному в человека свыше.

Вслед за ними философы-метафизики говорили то же о прирожденной совести, о мистическом императиве, что, впрочем, ничего не объясняло и представляло только замену одних слов другими.

Но ни богословы, ни метафизики не сумели указать на тот простой и поразительный факт, что все животные, живущие в обществах, тоже умеют различать между добром и злом точно так же, как человек. И, что всего важнее, их понимание добра и зла совершенно то же, что у человека. У наиболее развитых представителей каждого из классов животных, т. е. у высших насекомых, у высших рыб, птиц и млекопитающих, эти представления даже тождественны.

Некоторые мыслители XVIII века уже отметили мимоходом это совпадение, но с тех пор оно было забыто, и нам выпадает теперь на долю выставить все его глубокое значение.

Гюбер и Форель, неподражаемые исследователи муравьев, доказали целой массой наблюдений и опытов, что, если муравей, хорошо наполнивший свой зобик медом, встречает других муравьев, голодных, эти последние сейчас же просят его поделиться с ними. И среди этих маленьких, умных насекомых считается долгом для сытого муравья оторвать мед и дать возможность голодным товарищам покормиться.

Спросите у муравьев, хорошо ли было бы отказать в таком случае муравьям из своего муравейника? И они ответят вам фактами, смысл которых невозможно не понять, — что отказать было бы очень дурно. С таким эгоистом муравьем другие из его муравейника поступили бы хуже, чем с врагом из другого вида. Если бы такой отказ случился во время сражения между муравьями двух разных видов, его сородичи бросили бы сражение, чтобы напасть на своего эгоиста. Этот факт был доказан опытами, не оставляющими после себя никакого сомнения.

Или же спросите у воробьев, живущих в вашем саду, хорошо ли поступил бы тот из них, который, увидав, что вы выбросили крошки хлеба, не предупредил бы других об этом приятном для них событии. Если бы воробьи могли понять ваш вопрос, они, наверно, ответили бы, что этого никогда не бывает. Или спросите их, хорошо ли поступил такой-то молодой воробей, утащив, чтобы избежать труда, несколько соломинок из гнезда, которое строил другой воробей. На это воробьи, бросившись на воришку и грозя его заклевать, очень ясно ответят вам, что это очень нехорошо.

Спросите у сурков, хорошо ли отказывать другим суркам своей колонии в доступе к своему подземному магазину запасов? И они опять дадут ответ, что очень худо, так как будут всячески надоедать скупому товарищу.

Наконец, спросите первобытного человека, чукчу например, хорошо ли зайти в пустой чум другого чукчи и там взять себе пищи? И вам ответят, что если чукча мог сам добыть себе пищи, он поступил очень худо, беря ее у другого. Но если он очень устал и вообще был в нужде, тогда он должен был взять пищу, где бы ни нашел ее. Но в таком случае он поступил бы хорошо, оставив свою шапку или хотя бы кусок ремешка с завязанным узлом, чтобы хозяин мог знать, вернувшись, что заходил не враг и не какой-нибудь бродяга. Это избавило бы его от мысли, что по соседству завелся какой-то худой человек.

Тысячи таких фактов можно было бы привести. Целые книги можно было бы написать, чтобы показать, насколько сходны понятия добра и зла у человека и у животных.

Ни муравей, ни птица, ни чукча не читали ни Канта, ни Отцов Церкви, ни Моисеева закона. А между тем у них у всех то же понимание добра и зла. Откуда это? И если вы подумаете немного над этим вопросом, вы сейчас же поймете, что то называется хорошим у муравьев, у сурков, у христианских проповедников и у неверующих учителей нравственности, что полезно для сохранения рода; и то называется злом, что вредно для него. Не для личности, как говорили Бентам и Милль (утилитаристы), но непременно для всей расы, всего рода.

Та или другая религия, то или другое таинственное представление о совести ни при чем в этом понимании добра и зла. Оно составляет естественную потребность всех животных видов, выживающих в борьбе за существование. И когда основатели религий, философы и моралисты толкуют о божественных или о метафизических «сущностях», они только повторяют то, что на деле практикует всякий муравей, всякая птица в своих муравьиных или птичьих обществах.

«Полезно ли это обществу? Тогда, стало быть, хорошо. Вредно обществу? Стало быть, дурно»,

Это понятие может быть очень сужено у низших животных, или же оно расширяется у высших, но суть его остается та же.

У муравьев оно редко выходит за пределы муравейника. Правда, что встречаются федерации нескольких сот и тысяч муравейников, но это исключения. Обыкновенно же все общественные обычаи муравьиных обществ, все правила «порядочности» обязательны только для членов того же муравейника. Нужно делиться своим запасенным медом, но только с членами своего муравейника. Два муравейника не сойдутся в одну общую семью, если только не случатся какие-нибудь особые обстоятельства — например, общая нужда. Точно так же воробьи из Люксембургского сада (в Париже) нападают жестоко на всякого другого воробья, — например, из сквера Монжа, если он сунется в «их» сад. И чукча одного рода относится к чукче из другого рода, как к чужому: к нему не прилагаются обычаи, существующие внутри своего рода. Так, например, чужаку позволяется продавать свои изделия (продавать, по их понятиям, всегда значит более или менее обобрать покупателя:

либо тот, либо другой — всегда в проигрыше); между тем внутри своего рода никакой продажи не допускается: своим надо просто давать, не ведя никаких счетов и расчетов. И наконец, истинно образованный человек понимает связь, хотя бы и не явную, незаметную на первый взгляд, существующую между ним и последним из дикарей, и он распространяет свои понятия солидарности на весь человеческий род и даже отчасти на животных.

Понятие, таким образом, расширяется, но суть его остается та же.

С другой стороны, понятие о добре и зле меняется сообразно развитию ума и накоплению знаний. Оно не неизменно.

Первобытный дикарь во время периодических голодовок мог находить, что очень хорошо, т. е. полезно для рода, съесть своих стариков, когда они становятся бременем для сородичей. Он мог находить также хорошим, т. е. полезным для своего рода, «выставлять», т. е. попросту отдавать на смерть, часть новорожденных детей, сохраняя на каждую семью лишь по два или по три ребенка, которых мать и кормила до трехлетнего возраста, и вообще нянчила с глубокой нежностью[1].

Теперь мы, конечно, уже этого не делаем. Наши понятия изменились. Но и наши средства к жизни иные, чем они были у дикарей каменного века. Цивилизованный человек уже не находится в положении маленького племени дикарей, которому приходилось выбирать между двух зол: или съесть трупы стариков, когда они приносили себя в жертву своему роду и умирали на пользу общую, или же всему роду голодать и скоро оказаться не в силах прокормить ни стариков, ни детей.

Нужно перенестись мыслью в те времена, которые нам даже трудно вообразить в действительности, чтобы понять, что в тогдашних условиях полудикарь человек, пожалуй, рассуждал довольно правильно.

Рассуждения могут меняться. Понимание того, что полезно и что вредно, изменяется с течением времени, но сущность его остается та же. И если бы мы захотели выразить в одном изречении всю эту философию всего животного мира, то мы увидели бы, что муравьи, птицы, сурки и люди — все согласны в одном.

Христианские учителя говорят нам: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». И прибавляют: «Иначе будешь в аду».

Нравственность же, которая выясняется из знакомства со всем животным миром, не ниже, а скорее, выше предыдущей. Она просто говорит: «Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы в тех же условиях другие поступали с тобой».

И она спешит прибавить: «Заметим, что это — только совет; но этот совет — плод очень долгого опыта, выведенного из жизни обществами у очень многих животных; и у всего этого множества животных, живущих обществами, включая человека, поступать таким образом уже обратилось в привычку. Без этого, впрочем, никакое общество не могло бы прожить, никакой вид животных не мог бы справиться с природными трудностями, против которых он должен бороться».

Правда ли, однако, что именно это начало выступает из наблюдения над общительными животными и человеческими обществами? Приложимо ли оно? И каким путем это начало переходит в привычку и постоянно развивается? Вот что мы рассмотрим теперь.

## V

Понятие о добре и зле существует, таким образом, в человечестве. На какой бы низкой ступени умственного развития ни стоял человек, как бы ни были затуманены его мысли всякими предрассудками или соображениями о личной выгоде, он все-таки считает добром то, что полезно обществу, в котором он живет, и злом то, что вредно этому обществу.

Но откуда же берется у человека это понятие, иногда до того еще смутное, что его трудно отличить от простого чувства? Вот миллионы человеческих существ, которые никогда не думали обо всем человечестве. Каждый из них таит большей частью только свой собственный род, очень редко даже свою нацию, как же может он считать добром то, что полезно всему человечеству? Спрашивается даже, как может он дойти до мысли о единстве хотя бы только со своим племенем, несмотря на свои узкоэгоистические инстинкты?

Во все времена этот вопрос сильно занимал мыслителей. Он продолжает занимать их по сию пору, и года не проходит, чтобы не появилось несколько сочинений по этому вопросу. И мы в свою очередь попытаемся изложить наш взгляд. Заметим только мимоходом, что если толкование факта меняется, то самый факт остается неизменным; и если наше толкование еще окажется неверным или недостаточным, то факт существования в человеке нравственного чувства, со всеми его последствиями, остается непоколебимым. Мы можем давать неверное объяснение происхождению планет, вращающихся вокруг Солнца, но планеты вращаются тем не менее, и одна из них несет нас на себе в пространстве. Так и с нравственным чувством.

Мы уже упоминали о религиозном объяснении. «Если человек способен различать между добром и злом, — говорят религиозные люди, — значит, Бог внушил ему это понимание. Полезны или вредны такие-то поступки — тут нечего рассуждать: человек должен повиноваться воле своего творца». Не будем останавливаться на этом объяснении, оно — плод страха и незнания первобытного человека.

Другие (Гоббс, например) старались объяснить нравственное чувство в человеке влиянием законов. «Законы, — говорили они, — развили в человеке чувство справедливого и несправедливого, добра и зла». Наши читатели сами оценят по достоинству такое объяснение. Они знают, что закон не создавал общественные наклонности человека, а пользовался ими, чтобы рядом с правилами нравственности, которые люди признавали, дать им в придачу такие предписания, которые были полезны только для правящего меньшинства и которых поэтому люди не хотели признавать. Закон чаще извращал чувство справедливости, чем развивал его. А потому — мимо.

Мы не будем также останавливаться на объяснении утилитарных философов, выводивших нравственное чувство человека из соображений о пользе для него самого тех или других

поступков. Они утверждают, что человек поступает нравственно из личной выгоды, и упускают из виду чувство общности каждого со всем человечеством; а между тем такое чувство существует, каково бы ни было его происхождение. В их объяснении есть, стало быть, доля правды; но всей правды еще нет. А потому пойдём дальше.

Опять-таки у мыслителей XVIII века мы находим первое, хотя еще неполное, объяснение нравственного чувства.

В прекрасной книге, которую замалчивает духовенство всех религий, а потому мало известной даже нерелигиозным мыслителям[2], Адам Смит указал на истинное происхождение нравственного чувства. Он не стал искать его в религиозных или мистических внушениях, он увидел его в самом обыкновенном чувстве взаимной симпатии.

Перед нашими глазами бьют ребенка. Вы знаете, что ребенок от этого страдает, и наше воображение заставляет нас самого почти чувствовать его боль; или же его страдальческое личико, его слезы говорят вам это. И если вы не трус, вы бросаетесь на бьющего и вырываете у него ребенка.

Этот пример уже объясняет почти все нравственные чувства. Чем сильнее развито ваше воображение, тем яснее вы себе представите то, что чувствует страдающее существо, и тем сильнее, тем утонченнее будет ваше нравственное чувство. Чем более вы способны поставить себя на место другого и почувствовать причиненное ему зло, нанесенное ему оскорбление или сделанную ему несправедливость, тем сильнее будет в вас желание сделать что-нибудь, чтобы помешать злу, обиде, несправедливости. И чем более всякие обстоятельства в жизни, или же окружающие вас люди, или же сила вашей собственной мысли и нашего собственного воображения разовьют в вас привычку действовать, в том смысле, куда вас толкают ваша мысль и воображение, тем более нравственное чувство будет расти в вас, тем более обратится оно в привычку.

Таковы были мысли, которые развивал Адам Смит, подтверждая их множеством примеров. Он был молод, когда писал эту книгу, стоящую несравненно выше его старческого произведения «Богатство народов». Свободный от религиозных предрассудков, он искал объяснения нравственности в физическом свойстве физической человеческой природы, а потому в продолжение полутора лет светские и духовные защитники религий замалчивали и замалчивают эту книгу.

Единственной ошибкой Адама Смита было то, что он не замечал существования того же чувства симпатии, перешедшего уже в привычку, у животных.

Что бы ни говорили популяризаторы Дарвина, которые видят у него только мысль о борьбе за существование, заимствованную у Мальтуса и развитую им в «Происхождении видов», но не замечают того, что он писал в своем позднейшем сочинении «О происхождении человека», чувство взаимной поддержки является выдающейся чертой в жизни всех общественных животных. Коршун убивает воробья, волк поедает сурков; но коршуны и волки помогают друг другу в охоте, а воробьи и сурки умеют так прекрасно помогать друг другу в защите от хищных животных, что попадают только одни глупыши. Во всяком

животном обществе взаимная поддержка является законом (всеобщим фактом) природы, несравненно более важным, чем борьба за существование, прелести которой нам восхваляют буржуазные писатели с целью вернее нас обойти.

Когда мы изучаем животный мир и присматриваемся к борьбе за существование, которую ведет всякое живое существо против враждебных ему физических условий и против своих врагов, мы замечаем, что, чем более развито в данном животном обществе начало взаимности и чем более оно перешло в привычку, тем более имеет шансов это общество выжить и одолеть в борьбе против физических невзгод и против своих врагов. Чем полнее чувствует каждый член общества свою зависимость от каждого другого, тем лучше развиваются во всех два качества, составляющие залог победы и прогресса: мужество и свободная инициатива каждой отдельной личности. И наоборот, если в каком-нибудь животном виде или среди небольшой группы этого вида утрачивается чувство взаимной поддержки (а это случается иногда в периоды особенно сильной нищеты или же исключительного обилия пищи), тем более два главных двигателя прогресса — мужество и личная инициатива — ослабевают; если же они совсем исчезнут, то общество приходит в упадок и гибнет, не будучи в силах устоять против своих врагов. Без взаимного доверия не может быть борьбы; без мужества, без личной инициативы, без взаимной поддержки (солидарности) нет победы. Поражение неизбежно.

Когда-нибудь в другом месте мы еще вернемся к этому вопросу, и тогда можно будет доказать массой фактов, что закон взаимной поддержки — закон прогресса; что взаимная помощь, а следовательно, мужество и инициатива, воспитываемая ею, обеспечивают победу тому виду, который лучше прилагает ее на практике. В данную минуту нам достаточно только указать на этот факт. Его значение для занимающего нас вопроса очевидно.

Теперь представим себе, что такое чувство взаимной поддержки существует и практикуется уже миллионы веков, прошедших с тех пор, как первые зачатки животного мира начали появляться на земном шаре. Представим себе, что это чувство понемногу обращалось в привычку и передавалось по наследству, начиная с простейшего микроскопического организма, позднейшим формам животных: насекомым, земноводным, птицам, млекопитающим и человеку. И нам тогда понятно станет происхождение нравственного чувства. Оно составляет необходимость для животного точно так же, как пища или как орган дыхания.

Вот, стало быть, не восходя еще дальше (так как нам тогда пришлось бы говорить о том, что все более сложные животные первоначально произошли из «колоний» простейших организмов), вот происхождение нравственного чувства.

Нам пришлось выразаться очень кратко, чтобы уместить этот великий вопрос на пространстве нескольких страничек; но сказанного достаточно, чтобы показать, что в происхождении нравственного чувства ничего нет таинственного и сентиментального. Если бы не существовало тесной связи между индивидуализмом и видом, то животный мир никогда не мог бы развиваться и прийти до более совершенных форм. Самым развитым организмом на земле оставался бы один из тех комочков студенистого вещества, которые носятся в воде и едва заметны под микроскопом. Даже и такой организм мог ли бы

существовать, так как самые простые скопления клеточек уже представляют собой сообщества для борьбы с внешними условиями?

## VI

Итак, мы видим, что, если наблюдать животные общества — не с точки зрения заинтересованного буржуа, а как простой вдумчивый наблюдатель, — приходится признать, что нравственное начало «Относись к другим так, как ты желал бы, чтобы они отнеслись к тебе при тех же обстоятельствах» встречается везде, где существует общество.

И если ближе изучать постепенное развитие животного мира, то замечаешь (как это сделали зоолог Кесслер и экономист Чернышевский), что взаимная поддержка имела для прогрессивного развития животного мира гораздо большее значение, чем все приспособления организмов, которые могли явиться в силу борьбы между отдельными особями.

Нет никакого сомнения, что та же взаимная поддержка встречается в еще большей мере в человеческих обществах. Уже среди обезьян, представляющих высший тип развития животного мира, мы находим самую широко развитую практику солидарности. Человек же делает еще шаг в том же направлении, и только благодаря этому ему удалось сохранить свою сравнительно слабую породу вопреки природным препятствиям, стоявшим на ее пути, и высоко развить свой разум. Даже среди самых первобытных людей, оставшихся до сих пор на уровне каменного века, мы находим в их маленьких общинах самое высокое развитие взаимности, практикуемой всеми членами общины.

Вот почему чувство солидарности (взаимности) и привычка к ней никогда не исчезают в человечестве, даже в самые мрачные периоды истории. Даже тогда, когда в силу временных условий: подчиненности, рабства, эксплуатации — это великое начало общественной жизни начинает приходить в упадок, оно все-таки живет в мыслях большинства и в конце концов вызывает протест против худых, эгоистичных учреждений — революцию. Оно и понятно: без этого общество должно было бы погибнуть.

Для громаднейшего большинства животных и людей это чувство взаимности остается и должно оставаться вечно живым, как приобретенная привычка, как начало, всегда присущее уму, хотя бы даже человек часто изменял ему в своих поступках.

В нас говорит эволюция всего животного мира. А она очень длинна. Она длится уже сотни миллионов лет.

Если бы даже мы захотели избавиться от этого чувства, мы не могли бы. Человеку легче было бы привыкнуть ходить на четвереньках, чем избавиться от нравственного чувства, потому что в развитии животного мира нравственное чувство появилось раньше, чем хождение на двух ногах. Наше нравственное чувство — природная способность, совершенно так же, как чувство осязания или обоняние.

Что же касается до закона и религии, которые также проповедуют это начало, мы знаем, что они просто-напросто пользуются им, чтобы прикрывать свой товар — свои предписания на пользу завоевателям, эксплуататорам и священникам. Если бы этого принципа солидарности, справедливость которого все охотно признают, не существовало, они даже никогда не приобрели бы такой власти над умами. Они им пользуются; они прикрываются им точно так же, как государственная власть водворилась, пользуясь существующим в людях чувством справедливости и выставляя себя защитницей слабых против сильных.

Выбрасывая за борт закон, религию, власть, человечество снова вступает в обладание своим нравственным началом и, подвергая его критике, очищает его от подделок, которыми духовенство, судьи и всякие управители отравляли его и до сих пор отравляют.

Но отрицать нравственный принцип, потому что Церковь и Закон пользовались им для своих целей, было бы так же неблагоприятно, как объявить, что человек никогда больше не будет мыться, станет есть свинину, зараженную трихинами, и отвергнет общинное владение землей, потому что Коран предписывает совершать каждый день омовения, потому что гигиенист Моисей запрещал евреям есть свинину, 'а шариат (свод Мусульманского обычного права — дополнение к Корану) требует, чтобы земля, оставшаяся три года невозделанной, возвращалась общине.

Нужно заметить, что принцип, в силу которого следует обращаться с другими так же, как мы желаем, чтоб обращались с нами, представляет собой не что иное, как начало Равенства, т. е. основное начало анархизма. Как же можно считать себя анархистом, если не прилагать его на практике?

Мы не желаем, чтобы нами управляли. Но этим самым не объявляем ли мы, что мы в свою очередь не желаем управлять другими? Мы не желаем, чтобы нас обманывали, мы хотим, чтобы нам всегда говорили только правду; но тем самым не объявляем ли мы, что мы никого не хотим обманывать, что мы обязываемся говорить правду, всю правду? Мы не хотим, чтоб у нас отнимали продукты нашего труда; но тем самым не объявляем ли мы, что мы будем уважать плоды чужого труда?

С какой стати, в самом деле, стали бы мы требовать, чтобы с нами обращались известным образом, а сами в то же время обращались бы с другими совершенно иначе? Разве мы считаем себя «белой костью», как говорят киргизы, и на этом основании можем обращаться с другими, как нам вздумается? Наше простое чувство равенства возмущается при этой мысли.

Равенство во взаимных отношениях и вытекающая из него солидарность — вот самое могучее оружие животного мира в борьбе за существование. Равенство — это справедливость.

Объявляя себя анархистами, мы заранее тем самым заявляем, что мы отказываемся обращаться с другими так, как не хотели бы, чтоб другие обращались с нами; что мы не желаем больше терпеть неравенства, которое позволило бы некоторым из нас пользоваться своей силой, своей хитростью или смышленостью в ущерб нам. Равенство во всем —

синоним справедливости. Это и есть анархия. Мы отвергаем белую кость, которая считает себя вправе пользоваться простотой других. Нам она не нужна, и мы сумеем уравнивать ее.

Становясь анархистами, мы объявляем войну не только отвлеченной троице: закону, религии и власти. Мы вступаем в борьбу со всем этим грязным потоком обмана, хитрости, эксплуатации, развращения, порока — со всеми видами неравенства, которые влиты в наши сердца управителями религией и законом. Мы объявляем войну их способу действовать, их форме мышления. Управляемый, обманываемый, эксплуатируемый, проститутка и т. д. оскорбляют прежде всего наше чувство равенства. Во имя Равенства мы хотим, чтоб не было больше ни проституции, ни эксплуатации, ни обманываемых, ни управляемых.

Нам скажут, может быть, — так говорили не раз: «Но если вы думаете, что всегда нужно обращаться с другими так, как вы хотите, чтобы с вами обращались, то по какому праву прибегнете вы к силе в каком бы то ни было случае? По какому праву направите вы свои пушки против варваров или цивилизованной нации, вторгающихся на вашу родину? По какому праву убивать не только тирана, но даже простую змею?»

По какому праву? Но что хотите вы сказать этим туманным словом «право», заимствованным у законников?

Может быть, вы хотите спросить: буду ли я сознавать, что хорошо поступил, поступивши таким образом? и одобрят ли мой поступок те, кого я уважаю? Это, что ли, вы спрашиваете? Если так, то ответ будет очень прост.

Да, конечно да! Потому что мы требуем, чтобы нас убили, нас самих, как ядовитую змею, если мы пойдем вторгаться в чужую страну, в Маньчжурию или к зулусам, которые нам никогда не делали никакого зла. Мы говорим нашим сыновьям, нашим друзьям: убей меня, если я когда-нибудь пристану к партии завоевателей.

Конечно да! Потому что, если бы когда-нибудь, изменяя нашим принципам, мы завладели наследством (хотя бы оно упало с неба) с целью употребить его на эксплуатацию других, мы хотели бы, чтобы оно было отнято у нас.

Конечно да, потому что действительно искренний человек заранее потребует, чтобы его убили, если он станет ядовитой змеей, чтобы его поразили кинжалом, если бы он когда бы то ни было подумал занять место свергнутого тирана.

Из ста человек, имеющих жену и детей, наверно, найдется девяносто, которые, чувствуя приближение сумасшествия (т. е. потерю контроля над поступками), постараются покончить с собою из страха, чтоб в припадке безумия не причинить какого-нибудь зла тем, кого они любят. Всякий раз, когда истинно хороший человек чувствует, что он становится опасен своим близким, он предпочитает смерть.

Раз как-то в Иркутске бешеная собачонка укусила местного фотографа и одного ссыльного польского доктора. Фотограф выжег себе рану раскаленным железом, доктор же ограничился легким прижиганием. Он был молод, красив, полон жизни. Он только что вышел из каторги, куда был сослан русским правительством за свою преданность

народному делу. Чувствуя силу своего знания и своего недюжинного ума, он лечил с удивительным успехом. Больные обожали его.

Шесть недель спустя он видит, что укушенная рука начинает пухнуть. Он сам был доктор и понимал, что это значит: начиналась болезнь, кончающаяся бешенством. Он бежит к своему другу, тоже доктору, тоже ссыльному: «Скорей, прошу тебя, стрихнина! Ты видишь эту опухоль, ты понимаешь, что это значит? Через час, может быть раньше, начнется бешенство, я буду стараться укусить тебя, друзей — не теряй времени! Давай стрихнин: надо умирать».

Он чувствовал, что становится ядовитой змеей; он просил, чтобы его убили.

Его друг не решался. Он хотел попытаться лечение. Вдвоем с одной смелой женщиной они взялись ухаживать за больным... и через час или два доктор с пеной у рта бросился на них, стараясь их укусить; потом приходил в себя, требовал стрихнина — и снова впадал в бешенство. Он умер в ужасных мучениях.

Сколько подобных фактов мы могли бы привести, основываясь на одном собственном жизненном опыте.

Хороший, честный человек предпочитает сам умереть, чем стать причиной несчастья для других.

И вот почему он будет сознавать, что хорошо поступил и что заслужит одобрения тех, кого он уважает, если он убьет ядовитую змею или тирана.

Перовская и ее друзья убили русского царя Александра II. И, несмотря на свое прирожденное отвращение к пролитию крови, несмотря на некоторую симпатию к человеку, допустившему освобождение крепостных, человечество признало за революционерами это право. Почему? Не потому, что бы оно считало, это полезным: громадное большинство сомневается в пользе этого убийства, — но потому, что оно почувствовало, что ни за какие миллионы в мире Перовская и ее друзья не согласились бы сами стать самодержцами и тиранами на царское место. Даже те, кто не знает всей драмы этого убийства, почувствовали, однако, что оно не было делом юношеского задора, не было дворцовым переворотом, не было свержением власти для захвата ее в свои руки. Руководителем была здесь ненависть к тирании, доходящая до самоотвержения, до презрения смерти.

«Эти люди действительно имели право отнять у него жизнь» — таков был общий приговор; точно так же, как о Луизе Мишель говорили во Франции: «Она имела право войти в булочную и раздавать хлеб народу». Или же: «они могли устроить грабеж», — говорили о террористах, которые сами довольствовались коркой хлеба, когда вели подкоп под кишиневское казначейство и, рискуя погибнуть сами, принимали все меры, чтобы не пала как-нибудь ответственность на часового.

Право прибегать к силе человечество признает за теми, кто завоевал это право. Для того чтобы акт насилия произвел глубокое впечатление на умы, нужно всегда завоевать это

право ценой своего прошлого. Иначе всякий акт насилия, окажется ли он полезным или нет, останется простым насилием, не имеющим влияния на прогресс человеческой мысли. Человечество увидит в нем простую перестановку сил: смещение одного эксплуататора или одного управителя для замены его другим.

## VII

До сих пор мы все время говорили о сознательных поступках человека — о тех поступках, в которых мы отдаем себе отчет. Но рядом с сознательной жизнью в нас идет жизнь бессознательная, несравненно обширнее первой и на которую прежде мало обращали внимания. Достаточно, однако, присмотреться к тому, как мы одеваемся утром, стараясь застегнуть пуговицу, которая, мы знаем, оборвалась накануне, или же как мы протягиваем руку к какой-нибудь вещи, которую мы сами перед тем переставили, — достаточно присмотреться к таким мелочам, чтобы понять, какую роль бессознательная жизнь играет в нашем существовании.

Громаднейшая доля наших отношений к другим людям определяется нашей бессознательной жизнью. Манера говорить, улыбаться, хмурить брови, горячиться в спорах или сохранять спокойствие — все это, раз оно усвоено, мы продолжаем делать, не отдавая себе отчета, в силу привычки, либо унаследованной от наших предков — людей и животных (вспомните только, как похожи друг на друга выражения человека и животного, когда они сердятся), либо приобретенной, иногда сознательно, иногда нет.

Таким образом, наше обращение с другими переходит у нас в привычку. И человек, который приобретает больше нравственных привычек, будет, конечно, стоять выше того христианина, который говорит о себе, что дьявол вечно толкает его на зло и что он избавляется от искушения, только вспоминая о муках ада и радостях райской жизни.

Поступать с другими так, как он хотел бы, чтоб поступали с ним, переходит в привычку у человека и у всех общительных животных; обыкновенно человек даже не спрашивает себя, как поступить в данном случае. Не вдаваясь в долгие размышления, он поступает хорошо или худо. Только в исключительных случаях, в каком-нибудь сложном деле или же когда им овладевает жгучая страсть, идущая наперекор установившейся жизни, он колеблется, и тогда отдельные части его мозга вступают в борьбу (мозг — очень сложный орган, отдельные части которого работают до известной степени самостоятельно).

Тогда человек ставит себя в своем воображении на место другого человека; он себя спрашивает, приятно ли ему было бы, если б с ним поступили так-то; и чем лучше он отождествит себя с тем, которого достоинство или интересы он едва не нарушил, тем нравственнее будет его решение. Или же в дело вступит приятель и скажет: «Поставь себя на его место; разве ты позволил бы, чтобы с тобою обращались так, как ты сейчас поступил?» И этого бывает достаточно.

Призыв к принципу равенства делается, таким образом, только в минуту колебания. И в девяносто девяти случаях из ста мы поступаем нравственно в силу простой привычки.

Как видно, во всем, что мы до сих пор сказали, мы ничего не старались предписывать. Мы только излагали то, что происходит в мире животных и среди людей.

В былые времена церковь страшила людей, чтобы заставить их быть нравственными, известно, с каким успехом: угрожая, она развращала людей. Судья грозил пыткой, кнутом, виселицей — все во имя тех самых принципов общественности, которые он подтасовывал себе на пользу, — и развращал общество. И по сию пору всевозможные сторонники власти приходят в ужас при одной мысли, что вместе с духовенством исчезнут вдруг с лица земли и судьи.

Но мы ничуть не боимся отказаться от судьи и его наказаний. Вместе с французским философом М. Гюйо мы даже отказываемся от всякого утверждения свыше для нравственности и от признания за нею обязательности.

Нам не страшно сказать: «Делай что хочешь, делай как хочешь», потому что мы уверены, что громадная масса людей, по мере того как они будут развиваться и освобождаться от старых пут, будет поступать так, как лучше будет для общества; все равно, как мы заранее уверены, что ребенок будет ходить на двух ногах, а не на четвереньках, потому что он принадлежит к породе, называемой человеком.

Все, что мы можем сделать, это — дать совет; но и тут мы прибавляем: «Этот совет будет иметь для тебя цену только тогда, когда ты сам, из опыта и наблюдения, убедишься, что он верен».

— Когда мы видим, что молодой человек горбится и тем сжимает себе грудь и легкие, мы ему советуем смело поднять голову и держать грудь широко открытой. Мы ему советуем вдыхать воздух полными легкими, упражнять их, потому что в этом — лучшая гарантия против чахотки. Но в то же время мы не забываем учить его физиологии, чтобы он знал отправления легких и сам мог бы понять, как ему лучше держаться.

Это все, что мы можем сделать и в области нравственности. Мы только можем дать совет, не забывая, впрочем, прибавить: «Следуй ему, если ты одобришь его».

Но, предоставляя каждому поступать, как он найдет лучшим, и отрицая право общества наказывать кого бы то ни было за противообщественные поступки, мы не отказываемся от нашей способности любить то, что мы находим хорошим, и выражать эту любовь, и ненавидеть то, что мы находим дурным, и выражать эту ненависть. Любовь и ненависть — это мы удерживаем, и так как этого совершенно достаточно животным обществам для того, чтобы сохранять и развивать в своей среде нравственные чувства, то тем более этого достаточно для человеческого рода.

Мы требуем только одного — устранить все то, что в теперешнем обществе мешает свободному развитию этих двух чувств: устранить государство, церковь, эксплуатацию, судью, священника, правительство, эксплуататора.

Теперь, когда мы узнаем, что лондонский убийца «Джак Риппер» в несколько недель зарезал десять женщин из самого бедного и жалкого класса, нравственно не уступающих

многим добродетельным буржуазкам, нами прежде всего овладевает чувство злобы. Если бы мы его встретили в тот день, когда он зарезал несчастную женщину, надеявшуюся получить от него четвертак, чтобы заплатить за свою квартиру, из которой ее выгоняли, мы бы всадили ему пулю в голову, не подумав даже о том, что пуля была бы более на своем месте в голове домохозяина этой квартиры-берлоги.

Но когда мы вспоминаем обо всех безобразиях, которые довели Джака до этих убийств, когда мы вспоминаем о тьме, в которой он бродил, преследуемый образами, навешанными на него грязными книгами или мыслями, почерпнутыми из нелепых сочинений, — когда мы вспомним все это, наше чувство двоится. И в тот день, когда мы узнаем, что Джак находится в руках судьи, который сам умертвил больше мужчин, женщин и детей, чем все Джаки; когда мы узнаем, что он находится в руках у этих спокойных помешанных, которые не задумываются послать невинного на каторгу, чтобы показать буржуа, что они охраняют их — тогда вся наша злоба против Джака исчезает. Она переносится на других — на общество, подлое и лицемерное, на его официальных представителей. Все безобразия всех Джаков исчезают перед этой вековой цепью безобразий, совершаемых во имя закона. Его, это общество, мы действительно ненавидим.

Теперь наше чувство постоянно двоится. Мы чувствуем, что все мы, более или менее, вольно или невольно, являемся сообщниками этого общества. Мы не смеем ненавидеть. Осмеливаемся ли мы даже любить? В обществе, основанном на эксплуатации и подчинении, натура человеческая мельчает.

Но по мере исчезновения рабства и подчинения, мы постепенно станем тем, чем мы должны быть. Мы почувствуем в себе силу любить и ненавидеть даже в таких запутанных случаях, как только что приведенный.

В нашей повседневной жизни мы и теперь уже даем некоторую свободу выражению наших чувств симпатии или антипатии; мы беспрестанно это делаем. Все мы любим нравственную мощь и презираем нравственную слабость, трусость. Беспрестанно наши слова, наши взгляды, наши улыбки выражают, что мы радуемся при виде поступков, полезных для человеческого рода, — тех поступков, которые мы называем хорошими. И беспрестанно мы выражаем отвращение, внушаемое нам трусостью, обманом, мелочными интригами, недостатком нравственного мужества.

Мы не можем скрыть нашего отвращения даже тогда, когда под влиянием привитых нам воспитанием «хороших манер», т. е. лицемерия, мы стараемся замаскировать свои чувства лживыми приемами, которые исчезнут с установлением между нами отношений, основанных на равенстве.

Одного этого уже достаточно, чтоб удерживать на известной высоте понятие о добре и зле и внушать это понятие друг другу. Но тем более будет этого достаточно тогда, когда общество освободится от судей и попов, и вследствие этого нравственные принципы, потеряв характер обязательности, будут рассматриваться как простые, естественные отношения равных с равными.

А тем временем, по мере установления этих обыденных отношений, в обществе вырабатывается новое, более возвышенное представление о нравственности. Его мы и разберем теперь.

## VIII

До сих пор во всех наших рассуждениях мы излагали простые начала равенства. Мы восставали сами и предлагали другим восставать против тех, кто присваивает себе право обращаться с людьми так, как они отнюдь бы не захотели, чтобы обращались с ними, против тех, кто не хочет допускать относительно себя ни обмана, ни эксплуатации, ни грубости, ни насилия, но все это допускает по отношению к другим.

Ложь, грубость и т. д. отвратительны не потому, говорили мы, что их осуждают своды законов: цена этих сводов нам всем известна; они отвратительны потому, что ложь, грубость, насилие и прочее возмущают наше чувство равенства, если только равенство для нас не пустой звук. Они особенно возмущают того, кто действительно остается анархистом в своем образе мыслей и в своей жизни.

Но уже одно это начало равенства — такое простое, естественное и очевидное начало — если б только его всегда прилагали в жизни — создало бы очень высокую нравственность, обнимающую собою все, что когда-либо преподавали проповедники нравственности.

Принцип равенства обнимает собою все учение моралистов. Но он содержит еще нечто большее. И это нечто есть уважение к личности. Провозглашая наш анархический нравственный принцип равенства, мы тем самым отказываемся присваивать себе право, на которое всегда претендовали проповедники нравственности, — право ломать человеческую природу во имя какого бы то ни было нравственного идеала. Мы ни за кем не признаем этого права; мы не хотим его и для себя.

Мы признаем полнейшую свободу личности. Мы хотим полноты и цельности ее существования, свободы развития всех ее способностей. Мы не хотим ничего ей навязывать и возвращаемся, таким образом, к принципу, который Фурье противопоставлял нравственности религии, когда говорил: «Оставьте людей совершенно свободными; не уродуйте их — религии уже достаточно изуродовали их. Не бойтесь даже их страстей; в обществе свободном они будут совершенно безопасны».

Лишь бы вы сами не отказывались от своей свободы; лишь бы вы сами не давали себя поработить другим и буйным, противообщественным страстям той или другой личности вы противопоставляли бы ваши столь же сильные страсти. Тогда вам нечего будет бояться свободы[3].

Мы отказываемся уродовать личности во имя какого бы то ни было идеала; все, что мы позволяем себе, — это искренне и откровенно выражать наши симпатии и антипатии к тому, что мы считаем хорошим или дурным. Такой-то обманывает своих друзей? Такова его воля, его характер? Пусть так! Но наш характер, наша воля — презирать обманщика! И раз таков

наш характер, будем искренни. Не будем ему бросаться навстречу, чтобы прижать его к нашей жилетке; не будем дружески пожимать ему руку, как это делается теперь! Его активной страсти противопоставим нашу, такую же активную и сильную, страсть — ненависть ко лжи и обману.

Вот все, что мы можем и должны сделать для насаждения и поддержания в обществе принципа равенства. Это все тот же принцип равенства, приложенный к жизни[4].

Все это, конечно, будет вполне осуществляться лишь тогда, когда перестанут существовать главные причины развращения: капитализм, религия, правосудие, правительство. Но до известной степени это может уже делаться и теперь. И это уже делается.

А между тем, если бы люди знали один только принцип равенства, если бы каждый, (руководствуясь) одним только принципом торговой справедливости и всегда равного обмена, постоянно думал бы, как бы не дать другим больше того, что сам получишь от них, это была бы смерть общества.

Самый принцип равенства тогда исчез бы из наших отношений, так как для поддержания его необходимо, чтобы в жизни постоянно существовало нечто большее, более прекрасное, более сильное, чем простая справедливость.

И это нечто действительно существует.

До настоящего времени в человечестве никогда не было недостатка в великих сердцах, полных с избытком нежности, ума или воли; и эти люди расточали свое чувство, свой разум и свою активную силу на служение человечеству, ничего не требуя себе взамен.

Плодотворность ума, чувствительности или воли принимает всевозможные формы. Это может быть страстный искатель истины, отказывающийся от всех других удовольствий в жизни и всецело отдающийся исканию того, что, вопреки утверждению окружающих его невежд, он считает истиной и справедливостью. Или же это — изобретатель, перебивающийся кое-как изо дня в день, забывающий даже о еде и едва прикасающийся к пище, которой преданная ему женщина кормит его, как ребенка, в то время как он поглощен своим изобретением, которому суждено, думает он, перевернуть весь мир. Или же это — пламенный революционер, для которого наслаждения искусством, наукой и даже семейные радости кажутся невозможными, пока они не разделяются всеми, и который работает над пересозданием мира, несмотря на нищету и гонения. Или, наконец, это — юноша, который, слушая рассказы об ужасах неприятельского вторжения и понимая буквально патриотические легенды, нашептываемые ему, записывается в отряд добровольцев и идет с отрядом по колено в снегу, голодает и наконец падает под пулями.

Или же это, может быть, уличный парижский мальчишка, наделенный более свободным умом и лучше умеющий разобраться в своих симпатиях и антипатиях; он идет вместе со своим младшим братом защищать баррикады Коммуны, остается там под градом снарядов и пуль и умирает, шепча: «Да здравствует Коммуна!» Это — человек, возмущающийся при виде всякой неправды и изобличающий ее; в то время как все гнут спину, он, не задумываясь над последствиями, поражает эксплуататора, мелкого тирана на фабрике или

же более крупного тирана целого государства. Это, наконец, все те бесчисленные люди, которые совершают в своей жизни акты самоотвержения, менее яркие и потому малоизвестные, почти всегда недостаточно оцененные, но которых мы постоянно встречаем, особенно среди женщин, если только даем себе труд присмотреться к тому, что составляет основу жизни человечества, что помогает ему так или иначе выпутываться из невзгод и бороться с тяготеющими над ним эксплуатацией и угнетением.

Эти люди куют, одни — в полумраке, в неизвестности, другие — на более широкой арене, истинный прогресс человечества. И человечество знает это. Поэтому оно и окружает их жизнь уважением и поэзией. Оно даже украшает ее легендами и делает из них героев своих сказок, своих песен, своих романов. Оно любит в них отвагу, доброту, любовь, самоотвержение, недостающие большинству. Оно передает память о них от отца к детям.

Оно помнит даже тех, кто действовал лишь в тесном кругу семьи и друзей, и чтит их память в семейных преданиях.

Эти люди создают истинную нравственность, т. е. то, что одно следовало бы называть этим именем, так как все остальное — простой обмен равного на равное, тогда как без этой отваги, без этой самоотверженности человечество погрязло бы в тине мелочных расчетов. Эти люди, наконец, готовят нравственность будущего, ту, которая станет обычной, когда перестав «считаться», наши дети будут расти в той мысли, что лучшее применение всякой энергии, всякой отваги, всякой любви там, где потребность в этой силе всего больше.

Такая отвага и самоотверженность существовали во все времена. Они встречаются у всех животных. Они встречаются у человека даже в эпохи самого сильного упадка общественной жизни.

И во все времена религии старались овладеть этими качествами как своим достоянием и эксплуатировать их в свою собственную пользу, доказывая, что только религия способна создать таких; и если религии живы по сию пору, то потому, что — помимо невежества — они всегда, во все времена взывали именно к этой самоотверженности, к этой отваге. К ним же обращаемся и мы, революционеры, особенно революционеры-социалисты.

Что же касается объяснения этой способности к самопожертвованию, составляющей истинную сущность «нравственности», то все моралисты религиозные, утилитарные и другие — все впадали по отношению к ней в ошибки, нами уже отмеченные. Только молодой французский философ Гюйо (в сущности, быть может, не сознавая этого, — он был анархист) указал на истинное происхождение этой отваги и этого самоотвержения. Оно стоит вне всякой связи с какой бы то ни было мистической силой или с какими бы то ни было меркантильными расчетами, неудачно придуманными английскими утилитаристами. Там, где философия Канта, утилитаристов и эволюционистов (Спенсер и другие) оказалась несостоятельной, анархическая философия вышла на истинный путь.

В основе этих проявлений человеческой природы, писал Гюйо, лежит сознание своей собственной силы. Это — жизнь, бьющая через край, стремящаяся проявиться. «То кровь кипит, то сил избыток», — говоря словами Лермонтова. «Чувствуя внутренне, что мы

способны сделать, — говорил Гюйо, — мы тем самым приходим к сознанию, что мы должны сделать».

Нравственное чувство долга, которое каждый человек испытывал в своей жизни и которое старались объяснить всевозможными мистическими причинами, становится понятным. «Долг, — говорит Гюйо, — есть не что иное, как избыток жизни, стремящийся перейти в действие, отдаться. Это в то же время чувство мощи».

Всякая сила, накапливаясь, производит давление на препятствия, поставленные ей. Быть в состоянии действовать, это быть обязанным действовать. И все это нравственное «обязательство», о котором так много писали и говорили, очищенное от всякого мистицизма, сводится к этому простому и истинному понятию: жизнь может поддерживаться, лишь расточаясь.

«Растение не может помешать себе цвести. Иногда цвести для него — значит умереть. Пусть! Соки все-таки будут подыматься!» — так заканчивает молодой философ-анархист свое замечательное исследование.

То же и с человеком, когда он полон силы и энергии. Сила накапливается в нем. Он расточает свою жизнь. Он дает, не считая. Иначе он бы не жил. И если он должен погибнуть, как цветок гибнет, расцветая, — пусть! Соки подымаются, если соки есть.

Будь силен! Расточай энергию страстей и ума, чтобы распространить на других твой разум, твою любовь, твою активную силу. Вот к чему сводится все нравственное учение, освобожденное от лицемерия восточного аскетизма.

## IX

Чем любитесь человечество в истинно нравственном человеке? Это его силой, избытком жизненности, который побуждает его отдавать свой ум, свои чувства, свою жажду действий, ничего не требуя за это в обмен.

Человек, сильный мыслью, человек, преисполненный умственной жизни, непременно стремится расточать ее. Мыслить и не сообщать своей мысли другим не имело бы никакой привлекательности. Только бедный мыслями человек, с трудом напав на новую ему мысль, тщательно скрывает ее от других с тем, чтобы со временем наложить на нее клеймо своего имени. Человек же, сильный умом, не дорожит своими мыслями, он щедро сыплет их во все стороны. Он страдает, если не может разделить с другими свои мысли, рассеять их на все четыре стороны. В том его жизнь.

То же и относительно чувства. «Нам мало нас самих: у нас больше слез, чем сколько их нужно для наших личных страданий, больше радостей в запасе, чем сколько требует их наше собственное существование», — говорил Гюйо, резюмируя таким образом весь вопрос нравственности в нескольких строках — таких верных, взятых прямо из жизни. Одинокое существо страдает, оно впадает в какое-то беспокойство, потому что не может разделить с

другими своей мысли, своих чувств. Когда испытываешь большое удовольствие, хочется дать знать другим, что существуешь, что чувствуешь, что любишь, что живешь, что борешься, что воюешь.

Точно так же мы чувствуем необходимость проявлять свою волю, свою активную силу. Действовать, работать стало потребностью для огромного большинства людей до того, что, когда нелепые условия лишают человека полезной работы, он выдумывает работы, обязанности, ничтожные и бессмысленные, чтоб открыть хоть какое-нибудь поле деятельности для своей активной силы. Он придумывает все, что попало: создает какую-нибудь теорию, религию или «общественные обязанности» — лишь бы только убедить себя, что и он делает что-то нужное. Когда такие господа танцуют — они это делают ради благотворительности; когда разоряются на наряды — то «ради поддержания аристократии на подобающей ей высоте»; когда совсем ничего не делают — то из принципа.

«Мы постоянно чувствуем потребность помочь другим, подпереть плечом повозку, которую с таким трудом тащит человечество, или, по крайней мере, хоть пожужжать вокруг», — говорит Гюйо. Эта потребность — помочь хоть чем-нибудь — так велика, что мы находим ее у всех общественных животных, на какой бы низкой ступени развития они ни стояли. А вся та громадная сумма деятельности, которая так бесполезно растрачивается каждый день в политике, — что это, как не потребность подпереть плечом повозку или хоть пожужжать вокруг нее?

Бесспорно, если этой «плодовитости воли», этой жажде деятельности сопутствуют только бедная чувствительность и слабый ум, неспособный к творчеству, тогда получится только какой-нибудь Наполеон I или Бисмарк, т. е. маньяки, хотевшие заставить мир пойти вспять. С другой стороны, плодовитость ума, если она не сопровождается высокоразвитой чувствительностью, дает пустоцветы — тех ученых, например, которые только задерживают прогресс науки. И наконец, чувствительность, не руководимая достаточно обширным умом, даст, например, женщину, готовую всем пожертвовать какому-нибудь негодяю, на которого она изливает всю свою любовь.

Чтобы быть действительно плодотворной, жизнь должна изобиловать одновременно умом, чувством и волей. Но такая плодотворность во всех направлениях и есть жизнь — единственное, что заслуживает этого названия. За одно мгновение такой жизни те, кто раз испытал ее, отдают годы растительного существования. Тот, у кого нет этого изобилия жизни, тот — существо, состарившееся раньше времени, расслабленное; засыхающее, нерасцветшее растение.

«Оставим отживающей гнили эту жизнь, которую нельзя назвать жизнью!» — восклицает юность — истинная юность, полная жизненных сил, стремящаяся жить и сеять жизнь вокруг себя. И всякий раз, как общество начнет разлагаться, напор этой юности разбивает старые формы — экономические, политические и нравственные, чтобы дать простор новой жизни, Пусть тот или другой падет в борьбе! Соки все-таки будут подыматься! Для сильных людей жить — значит цвести, каковы бы там ни были последствия расцвета! Они плакаться не станут.

Но, оставляя в стороне героические эпохи в жизни человечества и беря только каждодневную жизнь, разве это жизнь, когда живешь в разладе со своим идеалом?

В наши дни часто приходится слышать насмешливое отношение к идеалам. Это понятно. Идеалы так часто смешивали с их буддийскими или христианскими искажениями; этим словом так часто пользовались, чтобы обманывать наивных, что реакция была неизбежна и даже благотворна. Нам тоже хотелось бы заменить это слово «идеал», затасканное в грязи, новым словом, более согласным с новыми воззрениями.

Но каково бы ни было слово, факт остается налицо: каждое человеческое существо имеет свой идеал. Бисмарк имел свой идеал, как бы ни был он фантастичен, так как сводился на управление людьми огнем и мечом. Каждый мещанин-обыватель имеет свой идеал — хотя бы, например, иметь серебряную ванну, как имел Гамбетта, или иметь в услужении известного повара Тромпетта, — и множество рабов, чтобы они оплачивали, не морщась, и ванну, и повара, и много другой всякой всячины.

Но рядом с этими господами есть другие люди — люди, постигшие высшие идеалы. Скотская жизнь их не удовлетворяет. Раболепие, ложь, недостаток честности, интриги, неравенство в людских отношениях возмущают их. Могут ли такие люди в свою очередь стать раболепными, лгунишками, интриганам, поработителями? Они понимают чувством, как прекрасна могла бы быть жизнь, если бы между всеми установились лучшие отношения. Они чувствуют в себе достаточно сил, чтобы самим по крайней мере установить лучшие отношения с теми, кого они встретят на своем пути. Они постигли, прочувствовали то, что мы называем идеалом.

Откуда явился этот идеал? Как вырабатывается он — преемственностью, с одной стороны, и суммой впечатлений жизни — с другой? Мы едва знаем, как идет эта выработка. Самое большее, если мы сможем, когда пишем биографию человека, жившего ради идеала, рассказать приблизительно верную историю его жизни. Но идеал существует. Он меняется, он совершенствуется, он открыт всяким внешним влияниям, но всегда он живет. Это — наполовину бессознательное чувство того, что дает нам наибольшую сумму жизненности, наибольшую радость бытия.

И жизнь только тогда бывает мощная, плодотворная, богатая сильными ощущениями, когда она отвечает этому чувству идеала. Поступайте наперекор ему, и вы почувствуете, что ваша жизнь двоится: в ней уже нет цельности, она теряет свою мощь. Начните часто изменять вашему идеалу, и вы кончите тем, что ослабите вашу волю, вашу способность действовать. Понемногу вы почувствуете, что в вас уже нет той силы, той непосредственности в решениях, которую вы знали в себе раньше. Вы — надломленный человек.

Все это очень понятно. Ничего в этом нет таинственного, раз мы рассматриваем человека как состоящего из действующих до некоторой степени независимо друг от друга нервных и мозговых центров. Начните постоянно колебаться между различными чувствами, борющимися в вас, — и вы скоро нарушите гармонию организма; вы станете больным, лишенным воли человеком. Интенсивность жизни понизится, и сколько бы вы ни

придумывали компромиссов, вы уже больше не будете тем цельным, сильным, мощным человеком, каким вы были раньше, когда ваши поступки согласовывались с идеальными представлениями вашего мозга.

А теперь упомянем, прежде чем закончить наш очерк, о двух терминах, альтруизм и эгоизм, постоянно употребляемых современными моралистами.

До сих пор мы еще ни разу даже не упомянули этих слов в нашем очерке. Это потому, что мы не видим того различия, которое старались установить моралисты, употребляя эти два выражения.

Когда мы говорим: «Будем обращаться с другими так, как хотим, чтобы обращались с нами», чему мы этим учим: эгоизму или альтруизму? Когда, идя дальше, мы говорим: «Счастье каждого тесно связано со счастьем всех окружающих его. Можно случайно иметь несколько лет относительного счастья в обществе, основанном на несчастье других, но это счастье построено на песке. Оно не может длиться; малейшей причины достаточно, чтобы разбить его, и само оно ничтожно, мелко в сравнении со счастьем, возможным в обществе равных. Поэтому каждый раз, когда ты будешь иметь в виду благо всех, ты будешь поступать правильно», — говоря так, что мы проповедуем? Мы просто констатируем факт.

И тогда мы прибавляем затем, перефразируя слова Гюйо: «Будь силен, будь велик во всех твоих поступках; развивай свою жизнь во всех ее направлениях; будь, насколько это возможно, богат энергией и для этого будь самым общественным и самым общительным существом — если только ты желаешь наслаждаться полной, цельной и плодотворной жизнью. Постоянно (руководствуясь) широко развитым умом, борись, рискуй — риск имеет свои огромные радости; смело бросай свои силы, давай их, не считая, пока они у тебя есть, на все то, что ты найдешь прекрасным и великим, и тогда ты насладишься наибольшей суммой возможного счастья. Живи заодно с массами, и тогда, что бы с тобой ни случилось в жизни, ты будешь чувствовать, что заодно с твоим бьются те именно сердца, которые ты уважаешь, а против тебя бьются те, которые ты презираешь. Когда мы это говорим, чему мы учим, — альтруизму или эгоизму?

Бороться, пренебрегать опасностью, бросаться в воду для спасения не только человека, но даже простой кошки, питаться черствым хлебом, чтоб положить конец возмущающей вас неправде, чувствовать себя заодно с теми, кто достоин любви, чувствовать себя любимым ими — все это, может быть, и жертва для какого-нибудь болезненного философа, вроде Спенсера; но для человека, полного энергии, силы, мощи, юности, это глубокое счастье сознавать, что ты живешь.

Эгоизм это? Или альтруизм?

Вообще моралисты, строящие свои системы на мнимом противоречии чувств эгоистических и альтруистических, идут по ложному пути. Если бы это противоречие существовало в действительности, если бы благо индивида было противоположно благу общества, человеческий род вовсе не мог бы существовать; ни один животный вид не мог бы достигнуть своего теперешнего развития.

Если бы муравьи не находили все сильного удовольствия в общей работе на пользу муравейника, муравейник не существовал бы и муравей не был бы тем, что он есть; он не представлял бы самого развитого из насекомых — насекомого, мозг которого, едва видный под увеличительным стеклом, почти так же могуч, как средний мозг человека.

Если бы птицы не находили сильного удовольствия в своих перелетах, в заботах о воспитании своего потомства, в общих действиях на защиту своих обществ от хищников, они никогда не достигли бы той ступени развития, на которой мы их видим теперь. Тип птицы ретрогрессировал бы, ухудшался, вместо того чтобы совершенствоваться.

И когда Спенсер предвидит время, когда благо индивида сольется с благом рода, он забывает одно: что если бы оба не были всегда тождественны, самая эволюция животного мира не могла бы совершиться.

Что всегда было, во все времена — это то, что всегда имелись в мире животном, как и в человеческом роде, большое число особей, которые не понимали, что благо индивида и благо рода, по существу, тождественны. Они не понимали, что цель каждого индивида — жить интенсивной жизнью и что эту наибольшую интенсивность жизни он находит в наиболее полной общительности, в наиболее полном отождествлении себя самого со всеми теми, кто его окружает.

Но это был лишь недостаток понимания, недостаток ума. Во все времена были ограниченные люди; во все времена были глупцы. Но никогда, ни в какую эпоху истории ни даже геологии благо индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны, и те, которые лучше других это понимали, всегда жили наиболее полной жизнью.

Вот почему различие между альтруизмом и эгоизмом, на наш взгляд, не имеет смысла. По той же причине мы ничего не сказали и о тех компромиссах, которые «человек, если верить утилитаристам, всегда делает между своими эгоистическими чувствами и своими чувствами альтруистическими. Для убежденного человека таких компромиссов не существует.

Существует только то, что действительно при современных условиях; даже тогда, когда мы стремимся жить согласно с нашими принципами равенства, мы чувствуем, как страдают эти принципы на каждом шагу. Как бы ни были скромны наша еда и наша постель, мы все еще Ротшильды по сравнению с тем, кто спит под мостом и у кого так часто нет даже куска черствого хлеба. Как бы мало мы ни отдавали интеллектуальным и артистическим наслаждениям, мы все еще Ротшильды по сравнению с миллионами людей, которые возвращаются вечером с работы обессиленные своим ручным трудом — однообразным и тяжелым, с теми, которые не могут наслаждаться ни искусством, ни наукой и умрут, ни разу не испытав этих высоких наслаждений.

Мы чувствуем, что мы не до конца осуществили принцип равенства. Но мы вовсе не хотим идти на компромисс с этими условиями. Компромисс — полупризнание, полусогласие. Мы же восстаем против них. Они нам тягостны. Они делают нас революционерами. Мы не миримся с тем, что нас возмущает. Мы отвергаем всякий компромисс — даже всякое перемирие — и

даем себе слово бороться до конца против этих условий.

Это не компромисс, и человек убежденный потому и отвергает компромисс, который позволил бы ему спокойно дремать в ожидании, пока все само собой изменится к лучшему.

И вот мы пришли к концу нашего очерка нравственности.

Бывают эпохи, сказали мы, когда нравственное понимание совершенно меняется. Люди начинают вдруг замечать, что то, что они считали нравственным, оказывается глубоко безнравственным. Тут наталкиваются они на обычай или на всеми чтимое предание — безнравственное, однако, по существу. Там находят они мораль, созданную исключительно для выгоды одного класса. Тогда они бросают и мораль, и предание, и обычай за борт и говорят: «Долой эту нравственность» — и считают своим долгом совершать безнравственные поступки.

И мы приветствуем такие времена. Это времена суровой критики старых понятий. Они самый верный признак того, что в обществе совершается великая работа мысли. Это идет выработка более высокой нравственности.

Чем будет эта высшая нравственность, мы попытались указать, основываясь на изучении человека и животных. И мы отметили ту нравственность, которая уже рисуется в умах масс и отдельных мыслителей. Эта нравственность ничего не будет предписывать. Она совершенно откажется от искажения индивида в угоду какой-нибудь отвлеченной идеи, точно так же как откажется уродовать его при помощи религии, закона и послушания правительству. Она предоставит человеку полнейшую свободу. Она станет простым утверждением фактов — наукой.

И эта наука скажет людям: «Если ты не чувствуешь в себе силы, если твоих сил как раз достаточно для поддержания серенькой монотонной жизни, без сильных ощущений, без больших радостей, но и без больших страданий — ну тогда придержишься простых принципов равенства и справедливости. В отношениях к другим людям, основанных на равенстве, ты все же найдешь наибольшую сумму счастья, доступного тебе при твоих посредственных силах».

«Но если ты чувствуешь в себе силу юности, если ты хочешь жить, если ты хочешь наслаждаться жизнью — цельной, полной, бьющей через край, если ты хочешь познать наивысшее наслаждение, какого только может пожелать живое существо, — будь силен, будь велик, будь энергичен во всем, что бы ты ни делал!»

«Сей жизнь вокруг себя. Заметь, что обманывать, лгать, интриговать, хитрить — это значит унижать себя, мельчать, заранее признать себя слабым: так поступают рабы в гареме, чувствуя себя ниже своего господина. Что ж, поступай так, если это тебе нравится; но зато знай заранее, что и люди будут считать тебя тем же: маленьким, ничтожным, слабым; так и будут они к тебе относиться. Не видя твоей силы, они будут относиться к тебе в лучшем случае как к существу, которое заслуживает снисхождения — только снисхождения. Не сваливай тогда своей вины на людей, если ты сам таким образом надломил свою силу».

«Напротив того — будь сильным. Как только ты увидишь неправду и как только ты поймешь

ее — неправду в жизни, ложь в науке или страдание, причиняемое другому, — восстань против этой неправды, этой лжи, этого неравенства, Вступи в борьбу! Борьба — ведь это жизнь; жизнь тем более кипучая, чем сильнее будет борьба, И тогда ты будешь жить, и за несколько часов этой жизни ты не отдашь годов растительного прозябания в болотной гнили»,

«Борись, чтобы дать всем возможность жить этой жизнью, богатой, бьющей через край; и будь уверен, что ты найдешь в этой борьбе такие великие радости, что равных им ты не встретишь ни в какой другой деятельности».

«Вот все, что может сказать тебе наука о нравственности».

«Выбор в твоих руках».

---

Версия #1

□□□□□□□□ □□□□□□□□ создал 21 апреля 2025 21:03:17

□□□□□□□□ □□□□□□□□ обновил 21 апреля 2025 21:05:10